

Я не могу назвать себя биографом Любови Омаровны Султановой, великого учёного, признанного во всём мире, лауреата многих отечественных и международных премий, кавалера орденов и т. д., совершившего ряд выдающихся открытий в области химии нуклеиновых кислот. Но как у ближайшего ученика, постоянно бывавшего в доме Султана Омара (так её прозвали друзья и коллеги), у меня скопились кое-какие материалы, которыми, я надеюсь, воспользуются будущие биографы. Среди этих материалов есть один трогательный, интимного свойства документ, которым я особенно дорожу: подробное описание событий последнего дня жизни великого учёного, её бесед с близкими, высказанных ею суждений. Оно-то, на мой взгляд, представляет наибольший интерес для будущих биографов, поскольку как друг дома я пользовался источниками, недоступными другим. Рискуя показаться назойливым, я пытливо расспрашивал родных и друзей Любови Омаровны, что же было в тот роковой день, просил их припомнить всё до мелочей (самого меня, к величайшему сожалению, тогда не было, да и никто не мог предвидеть, что он окажется последним).

Сразу хочу оговориться, что ничего особого она не изрекла — напрасно было бы ждать от Любови Омаровны откровений, исповедей или чеканных

афоризмов. Напротив, мои записки, может быть, примечательны именно тем, что позволяют при всей её необычности увидеть в ней *обычного* человека со всеми его слабостями и недостатками. Ошибаются те, кто считает, что отсвет величия должен лежать и на смерти великого человека, что он не может сойти в могилу, как простой смертный. Нет, господа, позволю себе с вами не согласиться. Пресловутый отсвет — это скорее дань дурно понятой мифологии или беллетристике, ненавистной Любви Омаровне в том случае, если её вкрапления (сама она сказала бы — примеси) нарушали чистоту стиля научной статьи.

Да и вообще смерть не терпит бутафории, театральных декораций, какой-либо напыщенности и позы. Беллетристом тут скорее выступаю я, поскольку по мере сил стараюсь дать связный рассказ, связать отдельные реплики в нечто целое и набросать живые сценки, используя сведения, полученные мною при опросах. Вскользь замечу, что при всей нелюбви к бутафории и простоте высказываний, Любовь Омаровна всё-таки нет-нет, да и поднимается над житейской суетой и даже позволяет себе некий пафос. Позволяет там, где что-то её особенно задевает, тревожит, мучит, возмущает и гневит. Она ведь всё-таки патриотка — в старом, почти забытом смысле этого слова (вскользь замечу, что возвращение Крыма Любовь Омаровна горячо приветствовала).

В заключение напомним (хотя эта дата есть во всех энциклопедиях), что Любовь Омаровна Султанова умерла тридцатого сентября две тысячи пятнадцатого года и похоронена на Ваганьковском кладбище, открытом для посещения.

1. Полдень; время приблизительно 12:10.

— Ты что разревелась? Вытри слёзы. И носом не шмыгай. Подойди ко мне. Встань тут. — Любовь Омаровна пальцем указывает внучке, где встать, чтобы не надыхаться ядовитым дымом от кальяна, плавающим по комнате, и не задеть локтем кофейник, стоящий в опасной близости к краю стола. Ценою самых угрожающих ультиматумов она завоевала право курить кальян и пить крепчайший кофе. С ней устали спорить, на неё махнули рукой. “Пусть делает, что хочет. В конце концов, она сама распоряжается своей жизнью”, — так решили *дети* — её дочь Марина (её часто звали Марусей) с зятем Феликсом. И отвернулись, снимая с себя всякую ответственность. А Любви Омаровне только того и надо. Теперь она может предаться своим *гнусным порокам*. И она с наслаждением предается, чтобы скорее умереть и не мучиться от ужасных давящих болей в боку: диагноз ей поставлен безнадежный. Смерти Любовь Омаровна не боится и особенно радуется тому, что она избавит её от *химии* — той, которой занималась всю жизнь, проводя опыты в специальной лаборатории и читая лекции студентам университета, и той, на которую её возят каждую неделю в онкологический центр. Особенно её допекает вторая химия. Из-за неё она стала хромать, совершенно облысела, а затем и вовсе утратила способность ходить. Этого она не может ей простить и в отместку втягивает дым, округляя свои огромные, *шамаханские*, навывкате глаза, и пьёт густую, иссиня-чёрную жидкость. Вот только внучка Стефания помешала ей тем, что без стука вошла в комнату. Любовь Омаровна уж хотела выгнать беспардонную особу (шугануть, по её словам). Но заметила, что та — вся зарёванная, слёзы размазаны по щекам и кончик беличьего носа (сама она рыжая, как белка) покраснел. Вот и решила выяснить причину. — Ну, рассказывай. Опять с родителями поссорилась, горе моё? Из-за чего?

— Они меня отругали. — Стефания отвернулась, от обиды даже не желая смотреть в ту сторону, где остались отругавшие её родители.

— Надо полагать, была причина. — Любовь Омаровна пустила дым сквозь ноздри крючковатого носа и отпила из чашки кофе, не желая отказывать себе в удовольствии, пока разговор с внучкой ещё не казался ей серьёзным и не требовал особого внимания. Удовольствие ей доставляло также удобное и покойное кресло, которое стало было уже расшатываться и заваливаться набок, но его недавно починили (по её словам, оно стало как новое). И было приятно, что после пасмурного, хмурого утра выдался такой

чудесный осенний день: из-под сизых, с чернильно-свинцовым отливом туч выглянуло малиновое солнце, следы ночного дождя стали повсюду высыхать, потянулась испарина, на оконных стёклах под солнцем засквозили золотом налившие кленовые листья и засверкали царапины. И даже умирать уже не хотелось... — Причина-то была, я спрашиваю?

— Была. — Стефания неохотно подтвердила наличие причины, словно это заставляло её признать нежеланную правоту родителей.

— Какая? Что я из тебя клещами вытягиваю!

— Бабуля, они мне вдалбливают, а я не понимаю. Что я, виновата?

— Может быть, соблаговолишь, наконец, объяснить, что тебе вдалбливают?

— Собла... согла...

— Не пытайся. Все равно не выговоришь. Это взрослое слово.

— А я уже взрослая. Я, как тебе известно, учусь в седьмом классе.

— Свистуха ты, а не взрослая. Ну, что внушают-то? Что?

Стефания смирилась с тем, что всё-таки придётся произнести то, что произносить так не хотелось.

— Внушают, что надо... любить Родину, — уныло возвестила она и состроила рожу, желая назло Родине показаться уродиной.

— Перестань кривляться. Что же здесь непонятного? — Любовь Омаровна откинулась на спинку скрипнувшего кресла, удобно развалилась в нём, вся размякла и расплзлась (растеклась), словно этой позой ей было легче выразить своё недоумение.

— Я не понимаю, что такое Родина. И у нас в классе никто не понимает. Только Бальзаминов один трюндит. Он на меня и пожаловался — позвонил матери, сказал, что я зачинщица и заводила. Вот она и взбесилась.

— Стало быть, ты инициатор антипатриотического движения. А кто такой Бальзаминов?

— Учитель литературы.

— Трюндит, а ты не понимаешь.

— Не понимаю. И у нас в классе никто...

— Ты что, дура? — перебила её Любовь Омаровна и зашлась хриплым, бухающим кашлем, поднося ко рту кулак с зажатым в нём платком.

— Может, и дура. Но я честно признаюсь. — Высохшие было слёзы снова выступили на глазах Стефании. — Я люблю свою улицу, двор, наш дом, даже эту противную школу люблю, потому что я к ней привыкла. Но почему я должна любить какую-то дурацкую Родину? Где она? Покажите мне её. — Стефания оглянулась вокруг себя, демонстрируя, что даже если бы ей что-то и показали, она бы ничего не увидела.

2. Время 12:40 (плюс-минус пять минут).

Любовь Омаровна смекнула, что за *это дело* надо взяться основательно и объяснить всё внучке толково, доступно, на простом и понятном Стефании языке. Таким языком она прекрасно владела, чуждая всякой зауми. Но ей помешала внезапная боль в боку, и некоторое время она не могла пошевелить языком, словно прилипшим к гортани, и только едва слышно стонала, закрыв высохшей фиолетовой ладонью глаза. Лишь когда боль немного утихла, она с трудом произнесла, страдая из-за несоответствия невнятно выговариваемых (как будто при заморозке зуба) слов их глубокому и важному смыслу:

— Видишь ли, моя дорогая. И дом, и двор, и улица, столь любимые тобой и для тебя привычные, есть проявление чего-то ещё более высокого, вечного, всеохватного, универсального по своему значению.

— Как в химии? — насмешливо спросила Стефания, привыкшая к тому, что бабушка на всё приводит примеры из химии.

— Болтушка ты. Химия здесь ни при чём. Давай мыслить логически. Вам на уроках рассказывали о конкретном и абстрактном? Вот Родина — это, в отличие от конкретной улицы, дома, двора, и есть абстракция, — произнесла Любовь Омаровна и сама удивилась, что безупречная логика привела её к такому абсурдному выводу. — Впрочем, извини. Не то. Беру свои

слова обратно. Это всё из-за проклятых болей. Сейчас курну, и в голове прояснится. — Любовь Омаровна затынулась дымом из кальяна.

Стефания с любопытством проследила, как дым выходит у неё из ноздрей, и с некоторым опозданием сказала:

— Вот видишь. Ты и сама не понимаешь, а ещё Султан Омар...

— Я, милочка, всё понимаю. Я хочу, чтобы ты у меня дотумкала. Поэтому зайдём с другой стороны... — Любовь Омаровна заворочалась в кресле, собираясь с силами для своего нового захода.

— Двор, улица, школа — это атомы, а Родина — это большая-большая молекула, — возвестила Стефания, подражая голосу бабушки с её особым выговором.

— Фу, какая ты глупая. Скажи, где ты родилась?

— Ну, в роддоме. Значит, роддом моя Родина, что ли? Ладненько, я согласна, буду любить роддом.

— Ты родилась в Москве, а Москва — это часть России. Вот Россия и есть твоя Родина.

— Твоя Россия, — Стефания брезгливо сморщила свой маленький белочий носик, — это просто страна, такая же, как другие страны, только хуже, бестолковая и со всякой дурью. Страна, но никакая не Родина. Вот у нас в классе Алиска Снегирёва родилась в Америке. Поэтому её и прозвали Аляской. Так что же? Значит, Америка её Родина?

— Но она же русская, — бухнула Любовь Омаровна вместе с новым приступом кашля.

— Такая же, как и ты. — Стефания сочла нужным о чём-то напомнить Султану Омару. — У неё мать русская, а отец аргентинец. Что ж у неё, три Родины?

— Как это три?

— Америка, Россия и Аргентина.

— Не важно, кто и где родился, а важно...

— Ты же сказала, что важно. Только что сказала: раз я родилась в Москве, а Москва — часть России, то значит...

— Ты меня совсем заморочила. Не буду я с тобой спорить. Твои родители что тебе говорят?

— Они говорят то, что им напел Бальзаминов. Он на этой Родине свихнулся.

— Бальзаминов — это, надо полагать, прозвище... А фамилия у него есть?

— Зачем тебе?

— Человека подобает звать по имени и фамилии.

— Есть у него фамилия — Кнорре.

— А он не сын Петра Герасимовича Кнорре, выдающегося химика, моего коллеги?

— Без понятия. Да мне и по барабану. Этих Кнорре полно, как собак нерезаных.

— Фамилия, однако, немецкая. Что ж он так за Россию радеет?

— Он за всех радеет. Считает, что девочкам из Чечни надо разрешить носить джихад.

— Не джихад, а хиджаб, наверное.

— Ну да. Ну да... Говорит, что за карикатуры на Пророка он бы на кол сажал.

— А Родина здесь при чём?

— Осквернять чужие святыни способны лишь те, у кого нет чувства своей Родины. Вообще с ним интересно поговорить, хотя он и дурак. У нас одна девочка из Чечни даже в него влюблена — тоже дура.

— А ты, часом, не влюблена?

— Вот ещё! Я влюбиться не могу. Я — фанатка.

— Чья же?

— Фредди Меркьюри, конечно. Чья же ещё! — сказала Стефания, бессмысленно и блаженно возводя к потолку светло-карие — белочьего цвета — глаза.

— Ладно, фанатка, иди. Устала я от тебя. Дай мне немного подремать.

— Иду. Тебе что-нибудь нужно?

Любовь Омаровна ничего не ответила и лишь махнула рукой, устраняя последнее препятствие, мешавшее ей закрыть глаза.

3. Время 13:30 (дочь каждый раз, заходя к матери, зачем-то смотрела на часы).

Но вздремнуть ей не удалось. Вскоре после того, как закрылась дверь за Стефанией, в комнату мягко, на цыпочках вошла дочь Марина-Маруся (родителям нравились оба имени, и они долго не могли выбрать). Она была узкоплечая, с тонкими руками, худая до пояса, но неудержимо полнеющая книзу, по линии бёдер и ног. Ноги она вообще скрывала, из-за чего носила длинные юбки. Марина-Маруся плаксиво и страдальчески сморщилась от плававшего в воздухе дыма, с которым она давно и безуспешно вела войну. Любовь Омаровна сделала вид, что спит. Но Марина-Маруся позволила себе ей не поверить, зная, что она долго притворяться не сможет.

Так оно и вышло. Любовь Омаровна поняла, что вздремнуть всё равно не удастся, и открыла глаза.

— Опять ты куришь этот ужасный кальян! — произнесла дочь с преувеличенно ласковой улыбкой, призванной смягчить адресованный матери суровый упрёк.

— Опять двадцать пять.

Марина-Маруся озадаченно встретила эту присказку матери.

— И что сие означает? Может быть, двадцать шесть? Или вообще тридцать девять, сто четырнадцать, двести сорок восемь?

— В тридцать девятом году я родилась. Всю жизнь мечтала попробовать кальян, да случая не было. Не было даже тогда, когда я стажировалась в Ташкенте. Или что-то мешало, и прежде всего, собственная трусость. И вот теперь какое счастье — ничто не мешает... Вернее, никто, кроме родной дочери.

— Ну, конечно... как же... Дочь у тебя ещё та злодейка. — Марина-Маруся воспользовалась своим правом на злодейство, чтобы открыть форточку и проветрить комнату.

— Я бы не сказала. Дочь как дочь. Это я виновата в том, что многого в жизни не попробовала, а теперь навёрстываю. Вот и кофе не пила — всё больше жиденький чай. А теперь всё себе разрешаю. Веду разгульную жизнь. — Любовь Омаровна сделала жест, выражающий упоение разгулом.

— И себя этим губишь, — сухо заметила дочь.

— Не гублю. Я бессмертна. Я никогда не умру, и вы меня не хороните. Я только засну и постепенно буду высыхать, потому что я святая, и моя плоть — это будущие мощи. А святая я потому, что целиком отдала себя науке. Нуклеиновым кислотам. Из-за этого и тебя родила слишком поздно. Науке отдала, но открытий особых не совершила. Так, знаешь... всё мелочи, иначе бы я была великой. Но святой быть лучше, чем великой. Вон твоя дочь отказывается понять, что такое Родина, — неожиданно заговорила она совсем о другом, чтобы не терять себя иллюзией, что сказанное прежде сказано не впустую.

— Я и хотела с тобой об этом поговорить, — вкрадчиво зашептала Марина-Маруся. — Меня это ужасно беспокоит. Нам учитель звонил. С ним Феликс разговаривал.

— Бальзаминов? Тот, который призывает всех на кол сажать?

— Что ты, он тишайший человек. Деликатнейший. Может, немного запоздал в прошедшем веке.

— Твой Феликс в разговоре, конечно, показал себя молодцом.

— Насчёт молодца не знаю. Но он выслушал и согласился. Пообещал провести воспитательную работу. Но сначала удивился, словно для него было открытием, что дочь не понимает. Для меня это тоже, честно говоря, открытие.

— Слава Богу, что хоть такие открытия в нашей семье совершают, что, кроме тупицы-бабки, есть светлые головы и большие умы. Ничего, настанет

время, будет и пора, как говорит моя Белла Рудольфовна. Повзрослеет Стефания — поймёт, хотя, может быть, и не дай Бог, чтобы поняла. Для этого ведь нужны испытания, хождения по мукам, а я моей внучке этого никак не желаю. Лишь бы жила, хотя бы и без Родины... Мне ведь тоже помирать не хочется, особенно в такие дни, как сегодняшний. — Любовь Омаровна долго смотрела в окно.

— Зачем же ты себя губишь?

— А разве это жизнь — каждую неделю на химию? Вот химия меня и доконала, проклятая. Совсем другой химией обернулась... Вон я вся облысела. Кто меня теперь замуж возьмёт?

— Найдутся кавалеры...

Любовь Омаровна повернулась в кресле так, чтобы высказаться решительно и придать своим словам убедительность.

— Знаешь, голуба, ты меня в четверг не вози. Ну его к лешему... Пустое это.

Марина-Маруся сдавленно улыбнулась и погладила её по лысой голове.

— Мы тебя ещё на операцию отвезём в Париж.

— Не поеду. Не упрашивайте. Лучше позовите священника. Исповедаться хочу.

Любовь Омаровна отвернулась и, чтобы больше ничего не говорить, стала снова смотреть в окно.

4. Время 14:40—14:50.

Солнце побледнело, подёрнулось дымкой и скрылось за розовой, неприятно рыхлой тучей. Сразу стало сумрачно и неуютно. Вскоре небо совсем заволокло. Покрапал, потенькал по карнизам дождик, затем всё затянуло туманной изморосью, стёкла расчертило наискось, и в водосточных трубах загудело, выметывая на тротуары белую пену.

Внучка Стефания внесла в комнату телефон, волоча по полу шнур и держа в руке поднятую трубку.

— Бабуля, тебя.

— Кто, родная?

— Твоя лучшая подруга Белла Рудольфовна, — громко оповестила Стефания, а затем добавила едва слышно: — Старая пердунья.

— Что ты там бормочешь?

— Я говорю, что она беспокоится о твоём здоровье.

— Зачем кричишь? Я не глухая. Давай сюда телефон. — Любовь Омаровна села прямо и поставила телефон на колени. — Алло, дорогая моя. Чем занимаешься? Лекарство приняла? Погода, похоже, портится. У нас зарядил такой дождь...

В трубке ответили едва пробивающимся сквозь булькающий, хриплый, спящий кашель голосом:

— А у нас ясно. Приняла я твоё лекарство, такая горечь, что чуть не выплюнула.

— Твой гранадёр в юбке приходил? — Гранадёром они называли рослую и плечистую домработницу.

— Приходил. Убрался и — убрался. Вот теперь сижу и решаю шахматную задачу.

— Ну, молодец. Какую?

— Расставить на доске восемь ферзей так, чтобы ни один не попал под удар другого.

— Ну, и как?

— Пять ферзей расставила.

— Умница. Теперь дело за малым. Как твоё здоровье?

— Ты же знаешь, у меня насморк. — Под насморком подразумевалось то, что у Беллы Рудольфовны ещё полгода назад отнялись ноги. — А у тебя как?

— Немного чихаю. — Любовь Омаровна и вправду чихнула из-за того, что дочь открыла форточку. — Совсем мы с тобой расклеились. Ну, ничего, мы ещё повоюем, себя покажем. В Крым-то поедем?

— А как же! Всенепременно. В двухместном купе. Как твоя внучка? — Вопрос о внучке входил в число таких же обязательных, как и вопрос о здоровье.

— Хорэ, как она сама выражается, — отрапортовала Любовь Омаровна и тотчас вспомнила о не совсем приятном разговоре со Стефанией. — Моя внучка, как выяснилось, Родину не любит.

— А за что её любить? — спросила Белла Рудольфовна, тоже патриотка, но большая ёрница. — Родина у нас больна. У неё *простуда* и *насморк* похуже нашего. — Она выделила голосом слова, которые следовало понимать не в прямом значении.

— Как это? — Любовь Омаровна не совсем улавливала, что имеет в виду подруга, чьи высказывания часто зависели от капризов настроения. Поэтому, несмотря на бодрые признания о Крыме, сначала следовало выяснить, в каком настроении она проснулась. — Ты сегодня кофе пила с удовольствием?

— Без всякого удовольствия, — в тон ей ответила Белла Рудольфовна.

— Что так?

— Да прочла тут в одной газете. Вернее, газетке. А ещё верней, дрянной газетёнке...

— Что же пишут?

— Зачем тебе расстраиваться...

— Говори, раз уж начала.

— Хорэ. — Белла Рудольфовна переложила трубку в левую руку, чиркнула спичкой и закурила. — Две затяжки мне можно. Скажи мне в таком случае, какая у нас теперь цель образования? Ради чего существуют школы, академии, университеты? Ради того, чтобы раскрывать в детях творческие способности, обогащать их знаниями, развивать интеллект? Нет, дорогая моя, конечная цель образования — воспитывать грамотного потребителя. Ей-богу, я сама читала. Грамотного потребителя! Чтобы, придя в магазин, он знал, что ему купить, и как можно больше накладывал в тележку. Знаешь, такие тележки в магазинах. Ха-ха-ха! — Белла Рудольфовна раскатисто рассмеялась в трубку, и настроение у неё сразу улучшилось оттого, что она позволила себе закурить и ей дали высказаться. — Заметь, производителя материальных ценностей они не воспитывают, потому что все уже произведено. Произведено даже с переизбытком. Все прилавки завалены. На складах всё гниёт и тухнет. Поэтому теперь нужен потребитель, чтобы прилавки вновь опустели. А ты о какой-то любви... Наивно и смешно, ей-богу.

— Ты так говоришь, что я не знаю, смеяться мне или плакать.

— Смейся, — убежденно посоветовала Белла Рудольфовна. — А чтобы тебе стало повеселее, я тебе анекдот расскажу.

— Только приличный. — Любовь Омаровна не позволяла непристойностей даже близкой подруге, хотя она и была ёрницей.

— Приличнее не бывает. Как раз для твоих целомудренных ушей. Один другого спрашивает: “Что такое демократия?” Тот отвечает: “Власть демократов”. Ну, как? Оценила?

— Оценила, — ответила Любовь Омаровна, не расслышавшая анекдот из-за внезапных болей в боку.

5. Время 15:30.

Когда боль стала понемногу затихать, Любовь Омаровна — вместо того чтобы совершить необходимое — позвать дочь со шприцем и попросить её сделать укол, дала себе поблажку — позвала *всего лишь* внучку:

— Стефания, забери телефон.

Но внучка то ли не услышала, то ли была настолько поглощена своими заботами, что позволила себе пренебречь просьбой бабушки и в ответ на неё затихнуть, промолчать, не отозваться. Стефания оправдывала себя тем, что бабушка просит о пустяках, тогда как она сама занята важным делом. Телефон же может и подождать, тем более что он никому сейчас не нужен и звонить никто в доме не собирается.

— Забери, а то мне неудобно держать. Рука затекла. — Любовь Омаровна была вынуждена повторить свою просьбу, но с меньшей настойчивостью,

чем в первый раз: это была дань тому, что боль совсем прошла, и Любовь Омаровна могла позволить себе мысль о том, что этак она, пожалуй, и выздоровеет, и проживёт ещё годик-другой. К тому же и солнце выглянуло, засияло, словно омытое недавним дождём, и это заставило её... сердито, почти гневно ещё раз позвать Стефанию. Этому она искренне удивилась, не зная, чему приписать то, что вместо радости поддалась внезапному гневу и раздражению.

— Сейчас, бабуля, сейчас, — с опозданием отозвалась из соседней комнаты внучка, сразу залезбизившая оттого, что бабушка на неё явно сердита.

— Чем ты там занята? — спросила Любовь Омаровна, желая поторопить Стефанию и в то же время чувствуя, что никаких желаний у неё нет.

— Я на день рождения собираюсь.

— К кому? — И интереса ни к чему не было.

— К Аляске, то есть к Алиске, но мы её так зовём...

— Ничего лучше не могли придумать. Ну, скорее же... Посмотри, какое солнце. Я, пожалуй, ещё проживу годик-другой. — Она вдруг поняла: причина её раздражения в том, что она не верит в своё выздоровление и вообще ничему хорошему не верит, зато верит всему плохому и гадкому. Верит своей близкой — *при дверях* — курноске-смерти.

Стефания, уже наряженная, с чёлкой на лбу вошла в комнату и взяла у бабушки из рук телефон. Но уносить его не спешила.

— Бабу-у-у-ля... — просительно протянула она, — мне подарить нечего.

— А я тут при чём? Что ж ты не позаботилась заранее?

— Да уж такая я курноска. — Стефания тронула пальцем свой беличий носик.

Любовь Омаровна от ужаса вздрогнула.

— Тьфу, тьфу, глупая! Никогда так себя не называй.

— Почему? — Стефания испуганно отдернула палец от носа.

— Потому что... да что я буду тебе объяснять, почему! Не называй, и все.

— А если я курносая?

— Ты сначала дурочка, а лишь потом курносая.

— Хорэ, бабуля. Договорились. — Стефания замолкла, как замолкают перед тем, как сказать что-то особо важное, заранее заготовленное. — Возможно, я посмотрю у тебя в шкатулке?

— Да ты и так уже всё раздарила.

— Пожалуйста!.. Тебе жалко?

— Мне ничего не жалко, — сказала Любовь Омаровна и вдруг убедилась, что это на самом деле так: ей действительно ничего не жалко. — Ну, посмотри... Если что-нибудь найдёшь, покажи мне.

Стефания стала рыться в шкатулке, как белка роется в листве, отыскивая орехи.

— Ба-а-а, я нашла. Кулон или как он называется?

— Это нельзя. Впрочем, бери.

— А серьги?

— Тоже нельзя. Бери, бери.

Стефания по виду бабушки поняла, что брать нельзя не столько запрещённое, сколько разрешённое.

— Что ж, обойдусь без подарка. Спасибо.

— Что ж ты не берёшь? Обиделась?

— Вот ещё! Я не обижаюсь. Как тебе моё платье? — Стефания повернулась так, чтобы бабушка могла оглядеть её со всех сторон.

— Очень-очень.

— Ну, я побегала... Вернусь — обо всём расскажу.

— Ты так ничего и не взяла?

— Ничего *твоего* я не взяла. Не будь собственницей.

— Покажи руки.

— Бабуля, тебе не кажется, что это унижительно?

— Я хочу уберечь себя от разочарования, а тебя — от греха.

— Вот, пожалуйста... — Стефания протянула обе руки, сначала ладонями вверх, а затем ладонями вниз. — Уберегла?

Любовь Омаровна оставила вопрос без ответа и лишь сказала:

— Ну, беги... Только допоздна не задерживайся.

Стефания, уже слышавшая это и от матери, и от отца, лишь в изнеможении вздохнула, ещё раз убедившись, что взрослые по сравнению с ней — сущие дети.

6. Время 17:00.

Марина-Маруся снарядилась проводить Стефанию на день рождения (шла за ней, выдерживая дистанцию в десять шагов) и ещё не вернулась. Видимо (как всегда в таких случаях), она проводила рекогносцировку на местности, дабы установить, что за компания, какие мальчики, нет ли среди них внушающих подозрение. Столь же важно было разведать, что собираются пить и чем закусывать, хотя выставленные на столе бутылки — не гарантия, что мальчики ничего не принесли в карманах. Всё это требовало навыков опытного разведчика и, главное, времени: нельзя было уходить сразу и всё пускать на самотёк.

Дома оставались лишь Любовь Омаровна и Феликс. Странно было бы, если б Феликс при этом не заглянул к ней и не осведомился о самочувствии, хотя он не любил к ней заходить, тем более один. Не любил, но теперь сразу постучался, словно торопясь воспользоваться тем, что им никто не помешает.

— К вам можно? Вы позволите?

— Заходи. С чем пожаловал, друже?

— Банальный вопрос. Как вы себя чувствуете?

— Замечательно. У меня был ученик Володя Бак. Он к концу обеда — а мы часто собирались, — всегда шутил: “Мой бак уже полон”. Почему-то это казалось смешным, и все дико смеялись. А я теперь без всяких шуток скажу: “Мой бак уже полон. Доверху. Конец”.

— Вы пообедали? Вас накормили?

— Господи, какой ты... дурачок. Я не об этом. Я о другом.

— Я понимаю. О жизни. О прожитых годах.

— Ну, слава Богу. С чем пожаловал-то? Ведь не просто так заглянул к старухе...

— У меня к вам такой вопрос, если позволите. — Любовь Омаровна давно заметила: даже если Феликс плутовал, привирал и обманывал, он старался казаться честным, честно смотреть, честно говорить. Вот и сейчас он смотрел на неё такими правдивыми глазами (Любовь Омаровна называла их глазами бога Ормузда), что у неё мелькнуло предчувствие: в чём-нибудь на-верняка сплутует.

— Позволяю любые вопросы, пока у меня ничего не болит. Только не смотри на меня так честно, а то страшно становится...

— Извините, иначе не умею.

— Ну, говори, говори же...

— Трудно говорить, если вы меня в чём-то подозреваете... — Феликс опустил глаза.

— Успокойся. Не подозреваю.

— Вы ведь пенсию давно не получали? — нехотя спросил Феликс, словно его к этому вынуждали.

— С полгода, как слегла. А что?

— Позвольте я буду получать.

— Сделай милость.

— Только надо оформить доверенность. Я выясню, как оформляется в том случае, если получатель не способен передвигаться. Наверное, через нотариуса. Так вы не против?

— Я буду только рада... Хотя я надеюсь, что сама встану.

— Встанете, я уверен, — сказал он без всякой уверенности, — но пока вы лежите... вернее, сидите в этом кресле. Мы вам его недавно починили...

— Вам за это на небесах венцы приготовлены. Что ещё ты хотел сказать?

— Сказать... сказать... — Феликс сделал вид, будто что-то припомнил. — Ах, да! Такая вот штука... Нам обещали, что химии вам будут делать бесплатно. В скором времени. Но пока надо платить... Конечно, вам большая скидка, но всё-таки...

— Ах, вот зачем тебе пенсия.

— Вы уж простите, но мы не так уж много зарабатываем. Может быть, составим доверенность не только на пенсионную, но и на *другую* сберкнижку? — Феликс смотрел себе под ноги, словно что-то искал и не мог найти.

Любовь Омаровна изумилась, но усилием воли заставила себя принять это как должное.

— Ради Бога, я не возражаю. Но, видишь ли, у меня там совсем немного... Я думала, на похороны и поминки...

— Похороны — это само собой... А можно взглянуть на вашу сберкнижку?

— Она в тумбочке.

Феликс достал сберкнижку, раскрыл её и тоже изумился.

— Как? Всего лишь? А ваши премии?

— Я всё тратила на оборудование для лаборатории и... ассистентам подкидывала.

— А о нас вы забыли? Тогда вы, может быть, доверите мне ваши ордена и награды?

— Ордена я продала, когда монтировали установку.

— Полный дефолт. Вот почему вы не написали завещания.

— Да, мне стыдно, что нечего завещать. Не накопила. Все профинтила.

— А ваша дача в Крыму?

— Милый, откуда? Нет никакой дачи...

— Но правительство вам подарило...

— Откуда эти слухи? Кто вам, извините, наплёл?

— Мне намекнула Белла Рудольфовна.

— Ах, мерзавка! — Её лицо расплылось в улыбке, словно она никого не любила так восторженно, как эту мерзавку. — Выпороть её надо! Ёрница! Она же ёрница! Хулиганка!

— Не буду вам мешать. — Феликс сделал упрещающий жест, позволяющий ему удалиться.

7. Время 19:45.

Марина-Маруся вернулась с дня рождения и сообщила, что компания за-скачала и, по всей вероятности, скоро нагрянет сюда. Во всяком случае, Стефания обещала их всех привести. Любовь Омаровна, услышав это из своей комнаты, позвала к себе дочь и стала ей с озабоченностью внушать, что надо же их угостить. На это Марина-Маруся ответила, что они все сытые, пьяные и нос табаке.

— Как это нос в табаке? — спросила Любовь Омаровна с недоумением: смысл поговорок она всегда понимала буквально, особенно если слышала их от дочери. — Они что, курят в таком возрасте? Кто же им позволяет?

— С тебя пример берут, — сказала дочь и приятно ей улыбнулась.

Вскоре компания и вправду нагрянула. Друзья Стефании ввалились всей гурьбой, стало шумно, от чьих-то тяжёлых шагов (наверняка кто-то очень толстый и грузный) зазвенели чашки в буфете. Послышались шуточные — шутовские — возгласы, истошные, сдавленные крики, какими в компаниях изображают буйное веселье. Кто-то затренькал на гитаре, кто-то пытался запеть, а кто-то подвывал, чтобы получалось отчаянно смешно.

Любовь Омаровну это быстро утомило, и она задремала. Очнувшись от сна из-за того, что у неё за дверью шептались и шушукались. “Что они там?” — подумала она недовольно. Голосов разобрать было невозможно, но один голос она не могла не узнать — голос внучки, та явно верховодила. Затем голоса разом смолкли. Стефания приоткрыла дверь, просунула голову и прятным голосом произнесла:

— Бабушка, к тебе священник. Мама вызвала из церкви. Отец Павлин.

“Какой еще Павлин? — подумала Любовь Омаровна, не ожидавшая никаких гостей, тем более священников. — Хотя предупредили бы заранее...” Она заворочалась в кресле, оперлась на один локоть, затем — на другой, попыталась сесть прямее, принять соответствующую позу. Но из-за слабости и головокружения не удержалась в этом положении, стала сползать и, обессиленная, снова откинулась на спинку кресла.

Священник вошёл (она слышала шаги) и встал у неё за спиной.

— Готов принять вашу исповедь, почтенная.

— Благодарю, святой отец. Вас моя дочь пригласила?

— Не совсем, — неопределённо отозвался он и тотчас поправился, словно получив чьё-то внушение: — Да, конечно, дочь. Кто ж ещё! Лишних прошу удалиться, — обратился он к собравшейся публике.

— Лишних у нас нет, все необходимые, — произнёс в ответ чей-то голос.

Но Стефания на это ответила, разом пресекая попытки непослушания:

— Удаляйтесь, раз велено. После всё расскажем.

— И вы, барышня, тоже... прошу. — Строгий голос священника давал понять, что и она не исключение.

— Можно, я тут в уголке постою? — притворно захныкала Стефания. — Я о бабушке и так всё знаю.

— Прошу, прошу. Не положено. — Отец Павлин, похоже, всё-таки вы проводил Стефанию (сама Любовь Омаровна этого не видела, поскольку не могла повернуться), а затем обратился к ней:

— В чём вы грешны?

Любовь Омаровна сразу не нашлась, что ответить, но затем произнесла с покаянным вздохом:

— Вот кальян курю...

— Да, кальян — это грех. Вам следует отказаться от курения, — сказал священник у неё за спиной, и ей показалось, что от него слегка попахивает, потягивает перегарцем. — В чём ещё вы грешны, почтенная?

— Бывает, что и выпью рюмочку, — призналась Любовь Омаровна больше для того, чтобы испытать священника.

Тот кашлянул. Кажется, немного смутился.

— В малых дозах разрешается. Продолжайте.

— Веду вольные разговоры с подругой Беллой Рудольфовной. Всё осмеиваем, вышучиваем, ёрничаем. Самой иногда противно.

— Так-так. Власть ругаете?

— Ругаем, святой отец. Слишком все там заворовались.

— Всё равно нехорошо ругать. Нет власти, кроме как от Бога. Дальше.

Любовь Омаровна задумалась, что же там может быть дальше.

— Не могу внушить внучке, чтобы она Родину любила... — Прежде чем продолжить, Любовь Омаровна ждала, что на это скажет священник.

Тот тоже задумался, помолчал.

— Это не ваш грех.

— А чей же? — Любовь Омаровна искренне удивилась.

И тут священник удивил её ещё больше. Он словно нехотя коротко сказал:

— Мой.

— Как это ваш, святой отец?

— А так, что я никакой не святой отец, а учитель литературы из класса вашей внучки. Моя фамилия Кнорре, а прозвище — Бальзаминов.

— А что же тогда исповедь?

— Вы извините, мы выпили немного. Всё-таки день рождения. Исповедь — это дурацкий спектакль. Розыгрыш. Или, как они говорят, прикол. Я ведь и не одет, как полагается. Вот, взгляните...

Кнорре-Бальзаминов встал перед ней так, чтобы она увидела, как он на самом деле одет (учитель был в клетчатом пиджаке и почему-то в украинской сорочке).

— Бабуля, это я придумала. Это мой прикол. Моё ноу-хау. — вмешалась Стефания, стоявшая в углу.

— Как же вы посмели! — вознегодовала Любовь Омаровна, и это ей дорого стоило: тотчас напомнила о себе боль, такая сильная, что она еле сдержалась от стога.

— Простите, ради Бога. Бес попутал...

— Бабуля, прости, а то я сейчас заплачу.

— Но вы же меня оскорбили. Вы поступили низко. С этим не шутят.

— Если хочешь знать, мы и не шутили. Иван Петрович когда-то был священником. Вернее, чуть не стал им.

— Это правда?

— Не совсем. Я был дьяконом, а до священника не дослужился. Да и дьякон из меня не вышел.

— Нет, всё-таки это низко. Это скверно. — Любовь Омаровна слегка смягчила свой гнев: ей стало жалко неудавшегося дьякона, а кроме того, она опасалась нового приступа.

— Возможно, вы не будете на меня слишком гневаться, если я вам скажу, что я сын вашего доброго знакомого, коллеги, единомышленника Петра Герасимовича Кнорре.

— Кнорре? Вы его сын?

— Может быть, и непутёвый, но — сын.

— Господи, всё-таки я была права. Ах, как я рада! — Любовь Омаровна смущённо тронула глаза платком.

— Видишь, бабуля, ты уже не сердисься, — сказала Стефания таким зловредным голосом, словно ябедничала на бабушку ей же самой.

После этого учитель Иван Петрович счёл нужным снова встать за спиной у Любови Омаровны, словно так ему было легче подготовиться к последующим действиям и произнести:

— И ещё я верну вам одну дорогую для вас вещь.

— Какую ещё вещь? — Любовь Омаровна словно не знала, чего ей теперь ждать от гостя.

Иван Петрович достал из кармана нечто, бережно завёрнутое в салфетку.

— Этот образок.

— Ах, боже мой! Он же хранился у меня в шкатулке! Откуда он у вас?

— От верблюда, — сказала Стефания, обиженно отвернувшись.

— Что значит “от верблюда”? — Любовь Омаровна с недоумением смотрела на обоих.

Учитель Иван Петрович решил, что на этот вопрос лучше ответить ему:

— А то и значит, что образок был подарен имениннице, но я подумал: “Здесь что-то не то”. Меня что-то смутило. Насторожило. И я на всякий случай его конфисковал.

— Из всего этого следует, что ты взяла образок из шкатулки! — Любовь Омаровна с трудом смогла повернуться так, чтобы видеть Стефанию.

— Это называется не взяла, а украла. Я у тебя воровка. — Стефания нагнулась, чтобы обнять её и прижаться щекой.

— Не смей себя так называть.

— Нет, я буду себя так называть, если тебе для меня жалко какой-то иконки.

— Мне не жалко, шпанёнок, но этот образок мне достался от мамы. Она меня с ним рожала и перед смертью мне его подарила. Мне было бы страшно его лишиться. Как я вам благодарна! — Она обратилась к учителю. — Значит, вы сын Петра Герасимовича. Где он сейчас? Как он?

— Он умер три года назад.

— Какое горе! Умер... А его жена? Добрейшая Варвара... Варвара... ах, отчество забыла...

— Прохоровна.

— Да, да, Варвара Прохоровна.

— Она, к несчастью, тоже умерла. От сердечной недостаточности.

— Вот это были учёные! Зубры! Я по сравнению с ними — мелюзга.

— Бабушка, не смей так говорить. — От обиды за бабушку Стефания сглотнула слёзы. — А то я буду тебе назло считать себя воровкой.

— Ах, ладно, идите. Что-то мне нехорошо.

— Маму позвать?

— Не надо. Я подремлю, если вы не будете шебаршиться за дверью.

— Шебаршиться... Мы же не мыши... — Стефания усомнилась в выборе слова. — К тому же все уже расходится. Всем пора домой.

— Ладно, ладно. Мне тоже пора. — Любовь Омаровна в полудреме сама не понимала, что сказала, хотя Стефания и учитель её поняли.

Или им так показалось.

8. Время 21:14.

Стефания толкнула коленом, а затем ещё и боднула лбом дверь и со стаканом смородинового морса подошла к креслу. В окне висела огромная фарфоровая луна, светившая ярче, чем мигающий фонарь перед окном. Любовь Омаровна в свете луны казалась страшной, величественной и смешной, с запавшими глазами, обведёнными синевой, голым, словно бильярдный шар, теменем и носом, как у Бабы-Яги.

— Бабушка, ты спишь? Я тебе попить принесла. Просыпайся. — Стефания тронула её за плечо. — Прости меня за образок и за прикол. Я тебя очень люблю. И тебя, и твою дурацкую Родину.

Любовь Омаровна открыла глаза, посмотрела в пустоту и снова закрыла.

— Прощаю, шпанёнок. Только она не дурацкая.

— Хорошо, хорошо, умняцкая. Даже преумняцкая.

— Просто Родина.

— Ты попей. Он сладкий, хотя и кислый.

— Что это?

— Море из чёрной смородины. Я на даче сама собирала.

— На моей крымской? Правительственной?

— Что?! У тебя в Крыму дача? — Стефания от удивления чуть не уронила стакан.

— Шучу, шучу. Это твой папа так считает. Поставь вот тут, рядом свой кисель. Я попозже. А шампанского у вас там не осталось? Принеси-ка мне бокал шампанского, — попросила Любовь Омаровна, не открывая глаз.

— Всё выпили, бабуля. Разве эти чукчи что-нибудь оставляют!

— Чукчи сами не пьют. Их только спаивают. Ну, тогда водки... чуть-чуть, полстопочки. А лучше налей стопку.

— Тебе же нельзя. Мать рассердится.

— А ты потихоньку. Своруй. Ты же у меня воровка, — произнесла Любовь Омаровна так, словно больше всего на свете любила воровок.

— Бабуля! — Стефания для порядка возмутилась. — Ладно, попробую. Если что, сама выпью.

— У тебе выпью. И думать не смей. Мне принеси. Надо напоследок всё взять от жизни.

Без пяти минут двенадцать Любовь Омаровна тихо и блаженно (она всё-таки выпила стопку) умерла. Так закончился — завершился — последний день жизни Султана Омара.